

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://saltykov-shchedrin.ru/> приятного чтения!

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

* * *

В 184* году я жил в одной из северных губерний России. Жил, то есть состоял на службе, как это само собой разумелось в то время. И при этом всякие дела делал: возлежал на лоне у начальника края, танцевал котильон с губернаторшей, разговаривал с жандармским штаб-офицером о величии России и, совместно с управляющим палатой государственных имуществ, плакал горячими слезами, когда последний удостоверял, что будущее принадлежит окружным начальникам. И, что всего важнее, ужасно сердился, когда при мне называли окружных начальников эмиссарами Пугачева. Одним словом, проводил время не весьма полезно.

В то время, вблизи губернского города, процветал (а быть может, и теперь процветает) уездный городок Любезнов, куда я частенько-таки ездил, во-первых, потому что праздного времени было пропасть, а во-вторых, потому, что там служил, в качестве городничего, мой приятель, штабс-капитан Вальяжный, а у него жила экономка Аннушка. Эта Аннушка была премилая особа, и, признаюсь, когда мне случалось пить у Вальяжного чай или кофе, то очень приятно было думать, что предлагаемый напиток разливала девица благоутробная, а не какая-нибудь пряничная форма. Но, впрочем, только и всего. Хотя же и был на меня донос, будто б я ездю в Любезнов «для лакомства», но, ввиду моей беспорочной службы, это представляло так мало вероятия, что сам его превосходительство собственноручно на доносе написал: «Не верю; пусть ездит».

Подобно тому, как у любого отца семейства всегда бывает особенно надежное чадо, о котором родители говорят: «Этот не выдаст!» – подобно сему и у каждого губернатора бывает свой излюбленный город, который его превосходительство называет своею «гвардией» и относительно которого сердце его не знает никаких тревог. Об таких городах ни в губернаторской канцелярии, ни в губернском правлении иногда по целым месяцам слухом не слышать. Исправники в них – непьющие; городничие – такие, что две рюмки вставши, да три перед обедом, да три перед ужином – и сами говорят: «Баста!», городские головы – такие, что только о том и думают, как бы новую пожарную трубу приобрести или общественный банк устроить, а обыватели-трудолюбивые, к начальству ласковые и к уплате податей склонные.

К числу таких веселящих начальственных сердца муниципий принадлежал и Любезнов. Я помню, губернатор даже руки потирал, когда заводили речь об этом городе. «За Любезнов я спокоен! Любезновцы меня не выдадут!» – восклицал его превосходительство, и все губернское правление, в полном составе, вторило: «Да, за Любезнов мы спокойны! Любезновцы нас не выдадут!» Зато, бывало, как только придет из Петербурга циркуляр о принятии пожертвований на памятник Феофану Прокоповичу или на стипендию имени генерал-майора Мардария Отчаянного, так тотчас же первая мысль: поскорее дать знать любезновцам! И точно: не успеет начальство и оглянуться, как исправник Миловзоров уже шлет 50 коп., а городничий Вальяжный – целых 75 коп. Тогда как из Полоумного городничий с тоской доносит, что, по усиленному его приглашению, пожертвований на означенный предмет поступила всего 1 копейка... Да еще испрашивает в разрешение предписания, как с одной копейкой поступить, потому-де, что почтовая контора принимает к пересылке деньги лишь в круглых суммах!

Любезнов был городок небольшой, но настолько опрятный, что только разве в самую глухую осень, да и то не на всех его улицах, можно было увязнуть. В нем был общественный банк, исправная пожарная команда, бульвар на берегу реки Любезновки, небольшой каменный гостиный двор, собор, две мощные улицы – одним словом, все, что может веселить самое прихотливое начальническое сердце. Но главным украшением города был городской голова. Этот замечательно деятельный человек целых пять трехлетий не сходил с головы и в течение этого времени неуклонно задавал пиры губернским властям, а местным – кидал подачки. С помощью этой внутренней политики он и сам твердо держался на месте, и в то же время содержал любезновское общество в дисциплине, подходящей к ежовым рукавицам. И вот, быть может, благодаря этим последним, в Любезнове процвели разнообразнейшие мастерства, которые сделали имя этого города известным не только в губернии, но и за пределами ее.

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Этот блестящий результат был, однако ж, достигнут не без труда. Есть предание, что Любезнов некогда назывался Буяновым и что кличка эта была ему дана именно за крайнюю необузданность его обывателей. Было будто бы такое время, когда любезновцы проводили время в гульбе и праздности и все деньги, какие попадали им в руки, «крамольным обычаем» пропивали и проедали; когда они не только не оказывали начальству должных знаков почитания, но одного из своих градоначальников продали в рабство в соседний город (см. «Северные народоправства», соч. Н. И. Костомарова). Даже и доднесь наиболее распространенные в городе фамильные прозвища свидетельствуют о крамольническом их происхождении. Таковы, например, Изуверовы, Идоловы, Строптивцевы, Вольницыны, Непроймёновы и т. д. Так что несколько странно видеть какого-нибудь Идолова, которого предок когда-то градоначальника в рабство продал, а ныне потомок постепенными мерами до того доведен, что готов, для увеселения начальства, сам себя в рабство задаром отдать.

К счастью для Буянова, случилось сряду четыре удачных и продолжительных головства, которые и положили конец этой неурядице. Первый из этих удачных градских голов дал городу раны, второй – скорпионы, третий – согнул в бараний рог, а четвертый познакомил с ежовыми рукавицами. И, независимо от этого, все четверо прибегали и к мерам кротости, неослабно внушая приведенным в изумление гражданам, что человек рожден для трех целей: во-первых, дабы пребывать в непрерывном труде; во-вторых, дабы снимать перед начальством шапку, и в-третьих, – лить слезы. Повторяю: результат оказался блестящий. Изуверовы вместо того, чтобы заниматься «противодействиями», занялись изобретением *perpetuum mobile*, и в ожидании, покуда это дело выгорит, работали самокаты и делали какие-то особенные игрушки, которые «чуть не говорят»; Идоловы, прекратив «филантропии», избрали специальностью сборку деревянных часов, которые в сутки показывали двое суток, но и за всем тем, как образчик русской смекалки, могли служить поводом для размышлений о величии России; Строптивцевы, бросив «революции», изобрели такие шкатулки, до которых нельзя было дотронуться, чтобы по всему дому не пошел гвалт и звон; а один из Непроймёновых, занявшийся торговлей муравьиными яйцами (для кормления соловьев), до того осмелился, что написал даже диссертацию «О сравнительной плотности муравьиных яиц» и, отослав оную в надлежащее ученое общество (вместе с удостоверением, что недоимок за ним не состоит), получил за сие диплом на звание члена-соревнователя.

И вот, когда город совсем очистился от крамолы и все старые недоимки уплатил, когда самый последний из мещан настолько углубился в свою специальность, что буйствовать стало уж некогда, а впору было платить дани и шапки снимать, – случилось нечто торжественное и чудное. Обыватели, созванные на вече (это было последнее вече, после которого вечевой колокол был потоплен в реке) городским головой Вольницыным, принесли публичное покаяние, а затем, в порыве чувств, единогласно постановили: просить вышнее начальство, дабы имя Буянова из географии Арсеньева исключить, а город ихний возродить к новой жизни под именем Любезнова...

Нужно ли прибавлять, что ходатайство сие было уважено?

Повторяю: в 184* году Любезнов ни о каких «народоправствах» уже не думал, а просто принадлежал к числу городов, осужденных радовать губернаторские сердца. А так как времена были тогда патриархальные, то члены губернского синклита частенько-таки туда езжали, во-первых, чтобы порадоваться на трудолюбивых и ласковых мещан, а во-вторых, чтобы попить и поесть у гостеприимного головы. Следуя общему настроению умов, ездил туда и я.

Однажды приезжаю прямо к другу моему, Вальяжному, и уже на лестнице слышу, что в городнической квартире происходит что-то не совсем обычное. Отворяю дверь и вижу картину. Городничий стоит посреди передней, издавая звуки и простирая длани (с рукоприкладством или без оного – заверить не могу), а против него стоит, прижавшись в угол, довольно пожилой мужчина, в синем кафтане тонкого сукна, с виду степенный, но бледный и как бы измученный с лица. Очевидно, это был один из любезновских граждан, который до того уж проштрафился, что даже голова нашел находящиеся в его руках меры кротости недостаточными и препроводил виновного на воздействие предрежущей власти.

– Степан Степаныч! голубчик! – воскликнул я, приветствуя дорогого хозяина, – а мы-то в губернии думаем, что в Любезнове даже самое слово «расправа» упразднено!

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru – Да... вот...– сконфузился было Вальяжный, но тотчас же поправился и, обращаясь к стоявшим тут «десятникам», присовокупил: – Эй! бегите в лавку за Твердолобовым, да судья чтобы... В бостончик? – обратился он ко мне.

– С удовольствием.

– Отлично. Милости просим! А я – вот только кончу!

И покуда я разоблачался (дело было зимой), он продолжал суд.

– Говори! почему ты не хочешь с женой «жить»? Вальяжный остановился на минуту и укоризненно покачал головой. Подсудимый молчал.

– И баба-то какая... Давеча пришла... печь печью! Да с этакой бабой... конца-краю этакой бабе нет! А ты!! Ах ты, ах! Но подсудимый продолжал молчать.

– Да ты знаешь ли, что даже в книгах сказано: «Муж, иже жены своя. . .» – хотел было поучить от Писания Вальяжный, но запнулся и опять произнес: – Ах-ах-ах!

Мещанин продолжал переминаться с ноги на ногу, но на лице его постепенно выступало какое-то бесконечно тоскливое выражение.

– Говори! что ж ты не говоришь?

– Что же я, вашескорodie, скажу?

– Будешь ли «жить» с женой как следует... как закон велит? Говори! Подсудимый несколько секунд помолчал и наконец вдруг заметался.

– Вашескорodie! Мне не токма что говорить, а даже думать... увольте меня, вашескорodie!

– А коли так – марш в холодную! и завтра чтобы без разговоров! А будешь разговаривать – так вспрысну, что до новых веников не забудешь! Марш!

И, помахав (чтоб крепче было) у подсудимого под носом указательным перстом, Вальяжный приказал его увести и затем, обратившись ко мне, протянул обе руки и воскликнул:

– Ну, вот вы и к нам! очень рад! очень рад! Аннушка! чаю!

* * *

До бостона я с полчаса спорил с Вальяжным. Он говорил, что «есть в законах»; я говорил, что «нет в законах». Послали за письмоводителем – тот ответил надвое: «Сам не видал, а, должно быть, где-нибудь да есть». Аннушка, вслушавшаяся в наш разговор, тоже склонялась в пользу того мнения, что где-нибудь да должно быть: «Потому, ежели они теперича в браке, то какие же это будут порядки, если жена свою положения от мужа получать не будет». Даже подоспевший к бостону судья – и тот сказал, что нужно где-нибудь в примечаниях поискать, потому что иногда где не чаешь, там-то именно и обретешь сокровище. Кончилось тем, что Вальяжный приказал письмоводителю к завтраму отыскать закон и в заключение прибавил:

– А ночь он пускай в холодной посидит! Там что еще окажется, а ему – наука!

В течение вечера дело хотя и недостаточно, но все-таки слегка для меня объяснилось. Обвиняемый был любезновский мещанин, Никанор Сергеев Изуверов, имевший в городе лучшую игрушечную мастерскую. Человек трезвый, трудолюбивый и послушливый, он представлял собой идеал обывателя, каким ему перед богом и Страшным его судом предстать надлежит. Слава об его мастерстве доходила некоторым эобразом даже до столиц, потому что всякий заезжий по делам службы столичный чиновник или офицер считал своею обязанностью поощрить «самородка» и приобрести у него несколько особенно хитрых игрушечных механизмов. Говорили, что он не игрушки делает, а «настоящих деревянных человечков». И еще говорили, что если бы всех самородков, в недрах земли русской скрывающихся, откопать, то вышла бы такая каша, которой врагам России и вовек бы не расхлебать.

Изуверов до сорока лет прожил одиноко с старухой матерью. Всецело углубившись в свою специальность, он, по-видимому, даже не ощущал потребности в обществе жены;

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru но лет пять тому назад старуха мать умерла, и Изуверова попутал бес. Некому было шти сготовить, некому – заплату на штаны положить. Он затосковал и начал было даже попивать. В это время под руку подвернулась двадцатипятилетняя девица Матрена Идолова, рослая, рыхлая, как будто нарочно созданная, чтобы горшки из печи ухватом таскать. Изуверов решился. Он даже радовался, что у него будет жена сильная, печь печью; думал, что при сильной бабе в доме больше порядку будет. Но, увы! Матрена с первых же шагов заявила наклонность не столько к тасканию горшков из печи, сколько к тому, чтобы муж вел себя относительно ее как дамский кавалер. И так как Никанор Сергеев, по-видимому, к роли дамского угодника чувствовал призвание очень слабое, то немедленно же обнаружилась полнейшая семейная неурядица, а под конец дело дошло и до разбирательства полиции.

Разумеется, на другой день письмоводитель доложил, что «в законах нет». Но, кроме того, оказалось и еще кое-что, а именно, что даже «вспрыснуть» Изуверова нельзя, так как закон на этот раз гласил прямо, что мещане, яко образованные, от телесных воздействий освобождаются. Поэтому Изуверова тогда же выпустили, а жене его Вальяжный объявил кратко: «Закона нет».

Результат этого я отчасти приписываю себе. Конечно, я был тут орудием случайным и даже страдательным, но все-таки, в качестве чиновника из губернии, в известной мере олицетворял авторитет. Я убежден, что, не наткнись я на сцену и не возбудил вопроса о том, есть ли в законе или нет, никто (и всех меньше сам Изуверов) и не подумал бы об этом. Никанор Сергеев не только высидел бы в холодной свое «положенное», но, наверное, был бы и «вспрыснут». Много-много, если бы Вальяжный перед «вспрыснутием» сказал бы: «А ну, образованный, ложись!» Это был бы единственный компромисс, который он допустил бы в свидетельство, что в городническом правлении, действительно, имеется шкап, в котором, в качестве узника, заключен закон.

К стыду моему, я должен сознаться, что, очень часто слыша о необыкновенных способностях Изуверова, я до сих пор еще ни разу не полюбостроивал познакомиться с произведениями его мастерства. Поэтому теперь, когда, помимо его репутации, меня заинтересовала самая личность «самородка-механика», я счел уже своею обязанностью посетить его и его заведение.

Домик, в котором жил Изуверов, стоял в одной из пригородных слобод и почти ничем не отличался от соседних домов. Такой же чистенький, словно подскобленный, так же о трех окнах и с таким же маломерным двором. Вообще мастерские и ремесленные слободы Любезнова были распланированы и обстроены с изумительным однообразием, так что сами граждане в шутку говаривали: «Точно у нас каторга!» В домиках с утра до ночи шла неусыпающая деятельность; все работали: и взрослые, и подростки, и малолетки, и мужеск, и женск пол; зато улицы стояли пустынные и безмолвные.

Я застал хозяина в мастерской одного. Изуверов принял меня с каким-то робким радушием и показался мне чрезвычайно симпатичным. Лицо его, изжелта-бледное и слегка изнуренное, было очень привлекательно, а в особенности приятно смотрели большие серые глаза, в которых, от времени до времени, проблескивало глубоко тоскливое чувство. Тело у него было совсем тщедушное, так что сразу было видно, что ему на роду написано: не быть исправным кавалером. Плечи узкие, грудь впалая, руки худые, безволосые, явно непривычные к тяжелой работе. Когда я вошел, он стоял в одной рубахе за верстаком и суетливо заторопился надеть армяк, который висел возле на гвоздике. На верстаке лежала кукла, сделанная вчерне. Плешивая голова без глаз; вместо груди и живота – две пустые коробки, предназначенные для помещения механизма; деревянные остовы рук и ног с обнаженными шалнерами.

Я, конечно, видал в своей жизни великое множество разоренных кукол, но как-то они никогда не производили на меня впечатления. Но тут, в этой насыщенной «игрушечным делом» атмосфере, меня вдруг охватило какое-то щемящее чувство, не то чтобы грусть, а как бы оторопь. Точно я вошел в какое-то совсем оголтелое царство, где все в какой-то отупелой безнадежности застыло и онемело. Это последнее обстоятельство было в особенности тяжело, потому что немота именно заключает в себе что-то безнадежное. Так что мне ужасно жалким показался этот человек, который осужден проводить жизнь в этом застывшем царстве, смотреть в просверленные глаза, начинать всякой чепухой пустые груди и направлять всю силу своей изобретательности на то, чтобы руки, приводимые в движение замаскированным механизмом, не стучали «по-деревянному», а плавно и мягко, как у ханжей и

игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru клеветников, ложились на перси, слегка подправленные тряпкой и ватой и, «для натуральности», обтянутые лайкой.

– Как живете? – приветствовал я хозяина.

– Тихо-с. Смирно у нас здесь-с. Прохор Петрович (голова) такую в нашем городе тишину завел, что, кажется, кабы не стучал станок – подумал бы, что и сам-то умер.

– Скучно?

– Не скучно-с, а как будто совсем нет ничего: ни скуки, ни веселости – одна тишина-с. Все мы здесь на равных правах состоим, точно веревка сквозь продернута. Один утром проснулся, за веревку потянул – и все проснулись; один за станок стал – и все стали. Порядок-с.

– Что ж, это хорошо. Порядок и притом тишина – это прежде всего. Оттого и начальники, глядя на вас, радуются; оттого и недоимок на вас нет.

А при сем весьма возможно, что и порочные наклонности ваши, не встречая питания...

К счастью, я поперхнулся на этом слове, и когда откашлялся, то потерял нить, и, таким образом, учительное настроение как-то само собой оставило меня.

– Вы, сказывали мне, игрушечным мастерством занимаетесь? И притом какие-то особенные, отличнейшие куклы работаете?

– Хвалить себя не смею, а, конечно, стараюсь доходить. Весь век промежду кукол живешь, все молчишь, все думаешь... Думаешь да думаешь – и вдруг, это, кукла перед тобой как живая стоит! Ну, натурально, потрафить хочется... А в этом разе, уж само собой, одной тряпкой да лайкой мудрено обойтись.

– Значит, вы отчасти и в скульптуру вдаетесь?

– Не знаю, сударь, как на это вам доложить. По-моему, я куклу работаю – только, разумеется, потрафить стараюсь. Скажем теперича хоть так: желаю я куклу-подьячего сделать – как с этим быть? Разумеется, можно и так: взял чурбашок, наметил на нем глаза, нос, губы, напялил камзолишко да штанишки – и снес на базар продавать по гривеннику за штуку. А можно и иначе. Можно так сделать, что этот самый подьячий разговаривать будет, мимику руками разводить.

– Вот как!

– Да и это, позвольте вам доложить, еще не самый конец. И подьячие тоже разные бывают. Один подьячий – мздоимец; другой – мзды не емлет, но лакомству предан; третий – руками вперед без резону тычет; четвертый – только о том думает, как бы ему мужичка облагодетельствовать. Вот извольте видеть: только четыре сорта назвал, а уж и тут четыре особенные куклы понадобились.

– Так что если бы всех сортов подьячих в кукольном виде представить, так они, пожалуй, всю мастерскую бы вашу заполнили?

– Мудреного нет-с. Или, например, женский род – сколько тут для кукольного дела материалу сыщется! Одних «щеголих» десятками не сосчитаешь, а сколько бесстыжих, закоснелых, оглашенных, сколько таких, которые всю жизнь зря мотаются и ни к какому безделью пристроить себя не могут! Да вон она-с! извольте присмотреть! – вскрикнул он, указывая в окошко, – это соседка наша, госпожа Строптивцева, по улице мостовой идет! Муж у ней часовым мастерством занимается, так она за него, вишь, устала, погулять вышла! Извольте взглянуть – чем не кукла-с?

Действительно, подругой стороне улицы проходила молодая женщина, несколько странного, как бы забвенного, вида. Идет, руками машет, головой болтает, ногами переплетает. Не то чего-то ищет, не то припоминает: «Чего, бишь, я ищущу?»

– Вот этакую-то куклу, да ежели ейный секрет как следует уследить – стоит ли за ней посидеть, спрощу вас, или нет? А многие ли, позвольте спросить, из нашего брата, игрушечников, понимают это? Большая часть так думает: насовал тряпки, лайкой обтянул да платьем прикрыл – и готов женский пол! Да вот, позвольте-с! у

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru меня и образчик отличнейший в этом роде найдется – не угодно ли полюбопытствовать?

Он подошел к стеклянному шкапу и вынул оттуда довольно большую и ценную куклу. Кукла представляла собой богато убранную «новобрачную», в кринолине, в белом атласном платье, украшенном серебряным шитьем и кружевными тряпочками. Личико у нее было восковое, с нежным румянчиком на щеках; глазки – фарфоровые; волосы на голове – желтенькие. С головы до полу спускался длинный тюлевый вуаль.

– Полковник здесь у набора был, – объяснил Изуверов, – так он заведение мое осматривал, а впоследствии мне эту куклу из Петербурга в презент прислал. Как, сударь, по-вашему, дорого эта кукла стоит?

– Да рублей двадцать, двадцать пять.

– Вот видите-с. Мне этакой суммы и не выговорить, а по-моему, вся ей цена, этой кукле, – грош!

– Что так?

– Пустая кукла – вот отчего-с. Что она есть, что нет ее – не жалко. Сейчас ты у ней голову разбил – и без головы хороша; платье изорвал – другое сшить можно. Ишь у ней глазки-то зря болтаются; ни она ссыскаса взглянуть ими, ни кверху их завести – ничего не может. Пустая кукла – только и всего!

В самом деле, рассмотревши внимательно щегольскую петербургскую куклу, я и сам убедился, что это пустая кукла. Дадут ее ребенку в руки, сейчас же он у нее голову скусит – и поделом. Однако ж я все-таки попытался хоть немного смягчить приговор Изуверова.

– Послушайте! да ведь это «новобрачная»! – сказал я, – чего ж вы хотите от нее?

– Ежели, вашескородие, насчет ума это изволите объяснять, так позвольте вам доложить: хоть и трудно от «новобрачной» настоящего ума ожидать, однако, ежели нет у ней ума, так хоть простота должна быть! А у этой куклы даже и простоты настоящей нет. Почему она «новобрачная»? на какой предмет и в каком градусе состоит? – Какие ответы она на эти вопросы может дать? Что уваль-то[1] у ней на голове, в знак непорочности, положен? так ведь его можно и снять-с! Что тогда она будет? «новобрачная» или просто плогрудая баба, которая наготовю своею глаза прохожим людям застелить хочет?

– Да разве можно от нее ответов требовать, коль скоро она «новобрачная»? ведь она и сама, вероятно, о себе ничего сказать не сумеет.

– Бывает с ними, конечно, и это-с. Бывают промежду ихней сестры такие, что об чем ты с ней ни заговори, она все только целоваться лезет... Так ведь нужно, чтобы и это было сразу понятно. Чтобы всякий, как только взглянул на нее, так и сказал: «Вот так баба... ах-ах-ах!» А то – на-тко! Нацепил уваль – и думает, что дело сделал! Этакие-то куклы у нас на базаре по гривеннику штука продают. Вон их, чурбашков, сколько в углу навалено!

– Так вы, значит, и простую куклу работаете?

– Без простой куклы нам пропитаться бы нечем. А настоящую куклу я работаю, когда досуг есть.

– И это интересуется вас?

– Известно, кабы не было занято, так лучше бы чурбашки работать: по крайности, полтинников больше в кармане водилось бы. А от этих от «человечков» и пользы для дому не видишь, да не ровен час и от тоски, пожалуй, пропадешь с ними.

– Тоска-то с чего же?

– С того самого и тоска, что тебе вот «дойти» хочется, а дело показывает, что руки у тебя коротки. Хочется тебе, например, чтоб «подьячий»... ну, рассердился бы, что ли... а он, заместо того, только «гневается»! Хочется, чтоб он сегодня – одно, а завтра – другое; а он с утра до вечера все одну и ту же канитель

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru твердит! Хочется, чтоб у «человечков» твоих поступки были, а они только руками машут!

– Еще бы вы чего захотели: чтоб у кукол поступки были!

– Знаю, сударь, что умного в этом хотенье мало, да ведь хотеть никому не заказано – вот горе-то наше какое! Думаешь: «Сейчас взмахну и полечу!» – а «человечек»-то вцепился в тебя да и не пускает. Как встал он на свою линию, так и не сходит с нее. Я даже такую механику придумал, что людишки мои из лица краснеют – ан и из этого проку не вышло. Пустишь это в лицо ему карминцу, думаешь: «Вот сейчас он рассердится!» – а он «гневаается», да и шабаш! А нынче и еще фортель приспособил: сердца им в нутро вкладывать начал, да уж наперед знаю, что и из этого только проформа выйдет одна.

И он показал мне целую связку крошечных кукольных сердец, из которых на каждом мелкими-мелкими буквами было вырезано: «Цена сему сердцу Адна копек.»

– Так вот как поживешь, этта, с ними: ума у них – нет, поступков – нет, желаний – нет, а на место всего – одна видимость, ну, и возьмет тебя страх. Того гляди, зарежут. Сидишь посреди этой немоты и думаешь: «Господи!, да куда же настоящие-то люди попрагались?»

– Ах, голубчик, да ведь и в заправской-то жизни разве много таких найдется, которых можно «настоящими» людьми назвать?

– Вот, сударь, вот. Это одно и смиряет. Взглянешь кругом: все-то куклы! везде-то куклы! не есть конца этим куклам! Мучат! тиранят!, в отчаянность, в преступление вводят! Верите ли, иногда думается: «Господи! кабы не куклы, ведь десятой бы доли злых дел не было против того, что теперь есть!»

– Гм... отчасти это, пожалуй, и так.

– Вполне верно-с. Потому настоящий человек – он вперед глядит. Он и боль всякую знает, и огорчение понять может, и страх имеет. Осмотрительность в нем есть. А у куклы – ни страху, ни боли – ничего. Живет как забвенная, ни у ней горя, ни радости настоящей, живет да душу изнимает – и шабаш! Вот хоть бы эта самая госпожа Стротивцева, которую сейчас изволили видеть, – хоть распотроши ее, ничего в ней, окромя тряпки и прочего кукольного естества, найти нельзя. А сколько она, с помощью этой тряпки, злодеяний наделает, так, кажется, всю жизнь ее судить, так и еще на целую такую же жизнь останется. Так вот как рассудишь это порядком – и смиришься-с. Лучше, мол, я к своим деревянным людишкам уйду, не чем с живыми куклами пропадать буду!

– С деревянными-то людишками, стало быть, поваднее?

– Как же возможно-с! С деревянным «человечком» я какой хочу, такой разговор и поведу. А коли надоел, его и угомонить можно: ступай в коробку, лежи! А живую куклу как ты угомонишь? она сама тебя изведет, сама твою душу вынет, всю жизнь тебе в сухоту обратит!

Изуверов высказал это страстно, почти с ненавистью. Видно было, что он знал «живую куклу», что она, пожалуй, и теперь, в эту самую минуту, невидимо изводила его, вынимала из него душу и скулила над самым его ухом.

– У нас, сударь, в здешнем земском суде хороший человек служит, – продолжал он, – так он, как ему чуточку в голову вступит, сейчас ко мне идет. «Изуверов, говорит, исправник одолел! празднословит с утра до вечера – смерть! Сделай ты мне такую куклу, чтоб я мог с нею, заместо исправника, разговаривать!»

– А любопытно было бы исправника вашей работы видеть – есть у вас?

– Материалу покуда у нас, вашескородие, еще не припасено, чтобы господ исправников в кукольном виде изображать. А впрочем, и то сказать: невелику бы забаву и господин секретарь получил, если б я его каприз выполнил. Сегодня он позабавился, сердце себе утолил, а завтра ему и опять к той же живой кукле на расправу идти. Тяжело, сударь, очень даже тяжело промежду кукол на свете жить!

Он помолчал с минуту, вздохнул и прибавил:

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Отец дьякон соборный не однажды говаривал мне: «Прямой ты, Изуверов, дурак! И от живых людишек на свете житья нет, а он еще деревянных плодит!»

Изуверов опять умолк и на этот раз, по-видимому, даже усомнился, правильно ли он поступил, сообщив разговору философическое направление. Он застенчиво ходил около верстака и полою армяка сметал с него опилки и стружки.

– А не покажете ли вы мне своих «людишек»? – попросил я.

– Помилуйте! отчего же-с! – ответил он, – даже за честь почту-с! Да вот, позвольте, для начала, хоть господ «подьячих» вам отрекомендовать.

* * *

– А ну-тка, господин коллежский асессор, вылезай! – воскликнул Изуверов, вынимая из картонки куклу и становя ее на верстак.

Передо мною стоял «человечек» величиною около пяти вершков; лицо и части тела его были удовлетворительно соразмерены; голова, руки и ноги свободно двигались. Тип подьячего был схвачен положительно хорошо. Волоса на голове – черные, тщательно прилизанные, с завиточками на висках и с коком над лбом; лицо, вздернутое кверху, самодовольное, с узким лбом и выдающимися скулами; глаза маленькие, подвижные и блудливые, с сильным бликом; щеки одутловатые, отливающие желтизною и в выдающихся местах как бы натертые кирпичиком (вместо румянца); губы пухлые, красные, масляные, точно сейчас после принятия жирной пищи; подбородок бритый и порезанный; кой-где по лицу рассеяны прыщи. Одет в вицмундир серого казинета, с красным казинетовым же воротником, и притом несколько странного покроя: с узенькими-узенькими фалдочками, падающими почти до земли; при вицмундире серенькие штанишки, коротенькие и отрепанные; карманы везде глубокие, способные вместить содержание сумы нищего, возвращающегося домой после удачного сбора «кусков». В петлице висит серебряной фольги медаль с надписью: «За спасение погибающих». Бедра крутые, женского типа; брюшко круглое, как комочек, и весело колеблющееся, как будто в нем еще продолжают трепыхаться только что заглотанные живьем куры и другая живность. Одну руку он утвердил фертом на бедре, другую – засунул в карман брюк, как бы нечто в оный поспешно опуская; ноги сложил ножницами. Вообще всей своей фигурой он напоминал ножницы, опрокинутые острым концом вниз. И хотя я не мог доподлинно вспомнить, где именно я эту личность видел, но несомненно, что где-то она мне встречалась, и даже нередко.

– «Мздоимец»? – спросил я.

– Он самый-с; как на ваш взгляд-с?

– Недурен. Только, признаюсь, я не совсем понимаю, зачем вы его в серый вицмундир одели, да еще с красным воротником? Ведь такой формы, сколько мне известно, не существует.

– Для цензуры-с. Ежели бы я в настоящий вицмундир его нарядил – куда бы я с ним сунулся-с? А теперь с меня взятки гладки-с. Там, как хочешь разумеи, а у меня один ответ: партикулярный, мол, человек – только и всего.

– Ну а зачем вы его коллежским асессором прозвали?

– Тоже для цензуры-с. Приезжал ко мне, позвольте вам доложить, в мастерскую человек один – он в Петербурге чиновником служит, – так он мне сказывал, что там свыше коллежского асессора представлять в кукольном виде не дозволяется, а до коллежского асессора будто бы можно. Вот я с тех пор и поставил себе за правило эту самую норму брать.

– Правильно. Ну, так покажите мне теперь вашего коллежского асессора, как он действует.

– Сейчас, вашескорodie. Мы ему сперва-наперво экзамент учиним. Сказывай, коллежский асессор: взятки любишь?

– Папп-п-па! – вдруг совершенно отчетливо крикнул «человечек».

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Я даже вздрогнул. Как-то удивительно неприятно поражал голос, которым были произнесены эти звуки. Точно попугай в соседней комнате крикнул, да еще в старозаветных помещичьих домах приживалки и попадьи таким голосом говаривали, когда желали веселить своих благодетелей.

– Это значит: люблю-с, – пояснил Изуверов и, вновь обращаясь к «коллежскому асессору», продолжал: – Большую, поди, мзду любишь?

– Папп-п-па!

– Такую, чтоб ограбить? дотла чтобы?

– Паппа! паппа! паппа!

Троекратно произнося этот возглас, коллежский асессор выказывал чрезвычайное волнение: вращал глазами, кивал головой, колыхал животом и хлопал руками по бедрам, точь-в-точь как бьет крыльями птица, которая неожиданно налетела на рассыпанный корм. Мне показалось, что даже было одно мгновение, когда он покраснел...

– Вот вы говорили, что ваши «человечки» поступков не имеют, – сказал я, – а посмотрите, какой неподдельный восторг ваш коллежский асессор выказывает!

– То-то и есть, что не вполне, вашескородие! – возразил Изуверов, – и руками он хлопает, и глазами бегаёт – это действительно; а в лице все-таки настоящей алчности нету! Вот у нас в магистрате секретарь служит, так тот, как взятку-то увидит, даже из себя весь помертвеет! И взгляд у него помутится, и руки затрясутся, и слюна на губах. Ну, а мой до этого не дошел-с.

– Мне кажется, что вы чересчур уж скромны, Никанор Сергеич. По моему мнению, и ваш «подьячий» – мерзавец хоть куда!

– Нет, сударь, что уж? Дальше – лучше увидите доказательства, что не напрасно я недоволен им. А покуда позвольте мне экзамент продолжать. – Ну, коллежский асессор, сказывай! Что большую мзду ты любишь – это мы знаем, а как насчет малой мзды – приемлешь?

– Папп... вззззз...

«Человечек» как будто спохватился и зашипел. Признаться, я подумал, не испортился ли в нем механизм, но Изуверов поспешил разуверить меня.

– Это значит: приемлю и малую мзду, но лишь в тех случаях, когда сорвать больше нечего. – Ну, а как ты насчет того скажешь, чтобы, например, совсем без мзды дело решить?

– Взззззз...

Коллежский асессор не только зашипел, но, даже закружился. Лицо у него совсем налилось красною жидкостью; глаза блудливо бегали в орбитах. Вообще было видно, что самая идея решить дело без мзды может довести его до исступления.

Даже Изуверов возмутился такую наглостью и строго покачал головой.

– Как посмотрю я на тебя, «Мздоимец», – сказал он, – так ты жаден, так жаден, что, кажется, отца родного за взятку продать готов?

– Папп-па! папп-па! папп-па!

– А под суд за это попасть хочешь?

– Взззззз...

– Не любишь? Конечно!.. Кому под суд попасть хочется! Какой ни на есть пансион, хоть грош, а все-таки заслужить лестно! Ты, поди, уж и деревнюшку для себя присмотрел?

– Папп-па!

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

– Наберешь взятков, женишься, уедешь в вотчину, станешь деток зоблить[2], крестьян на барщину гонять, в праздники на крылосе за обедней подпевать!

– Папп-па!

– И вдруг кондрашка?!

– Вззззз...

– Не любишь? Ничем его так, вашескородие, огорчить нельзя, как ежели о смертном часе напомнить. Ну, ладно, коллежский ассессор! Покуда что, а мы тебя теперь с одним человечком сведем...

Изуверов отыскал другую картонку и вынул оттуда «мужика».

Мужик был совсем настоящий и, по-видимому, даже зажиточный. Борода длинная, с сильною проседью; волосы, обильно вымазанные коровьим маслом; на плечах – синий армяк, подпоясанный красным кушаком, на ногах – совсем новенькие лапти. Из-за пазухи у него высовывались куры, гуси, утки, индюшки, поросята, а в одном из карманов торчала даже целая корова. Изуверов поставил его сначала поодаль от коллежского ассессора.

– Ну, что, мужичок! виноват?

– Мм-му-у!

– А коли виноват – становись, значит, на колени! Он поставил мужика на колени и обратил лицом к коллежскому ассессору.

– Ползи!

Мужик пополз и остановился перед «Мздоимцем». Коллежский ассессор сначала отвернул голову в сторону, притворяясь, будто не видит просителя; но после несколько раз повторенных «мм-му-у!» постепенно начал взглядывать по направлению виноватого и наконец вдруг плотоядно и пронзительно взвизгнул:

– Папп-па!

И тотчас же вырвал у мужика из-за пазухи гуся, которого тут же, при неистовом гоготании птицы, живьем и сожрал.

– Кланяйся же! кланяйся, мужичок! – поощрял Изуверов, – проси прощенья... вот так! виноват, мол, ваше высокородие! не буду!

– Мму-у-у! мму-у-у! мму-у-у! – твердил мужичок.

Поощренный этим, коллежский ассессор словно остервенился. Откинулся всем корпусом назад и некоторое время стоял в этой позе, как бы разглядывая свою жертву; потом начал раскачиваться из стороны в сторону, наливаясь при этом кровью, и наконец со всех ног бросился на мужика и принялся его теревить и грабить. Все это было сделано до такой степени живо, что у меня даже волосы встали дыбом. «Мздоимец» повытаскал из-за пазухи мужика всех курят, выволок из кармана за рога корову, потом выворотил другой карман и нашел там свинью, которая со страху сейчас же опоросилась десятью поросятами, и при всякой находке восклицал:

– Папп-па! папп-па! папп-па! Мужик же в умилении вторил ему:

– Мму-у-у!!

Наконец «Мздоимец» отцепился, и мужик, думая, что вина ему уж прощена, тоже начал проворно становиться на ноги. Однако ж не тут-то было. Коллежский ассессор опять что-то вспомнил (и, по-видимому, самое важное) и энергично замахал руками, указывая мужику на лапти. Мужик сконфузился, как будто его уличили в плутне, затем беспрекословно опустился на пол и стал разувать онучи и лапти. Все время, покуда происходил процесс разувания, «Мздоимец» внимательно следил за виноватым и лукаво улыбался, как бы говоря: «Надуть хотел... негодяй!!» И точно: по мере того, как развертывались мужиковы онучи, из них во множестве сыпались беленькие

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru и желтенькие кружочки.

– Это крестовики и полуимпериальчи-ки-с! [3] – пояснял Изуверов.

Коллежский ассессор остервенился вновь. В одно мгновение ока бросился он на виноватого, обшарил с головы до ног, обрал деньги, снял с мужика армяк и даже отнял медный гребень, висевший у него на поясе.

– Папп-па! папп-па! папп-па! – восклицал он в восхищении.

– Мму-у-у! – вторил ему мужик.

– Ну вот, теперь вставай! – разрешил Изуверов, становя мужика на ноги.

Мужик был сильно помят, но, по-видимому, нимало не огорчен. Он понимал, что исполнил свой долг, и только потихоньку встряхивался.

– Доволен? – обратился к нему Изуверов.

– Мму-у-у!

– Ну, то-то! теперь твое дело – верное! и дома всем так говори: «Теперь, мол, меня хоть с кашею ешь, хоть на куски режь – мое дело верное!» Ну-ну! добро, полезай опять в картонку да обрастай до будущего раза!

Он ухватил мужика поперек туловища и уложил его обратно в картонку.

– Этот мужичок у меня для «представлений» служит, – объяснил мне Изуверов, – сам по себе он персоны не обозначает, а коли-ежели силу души кому показать нужно, так складнее парня не сыскать! А засим позвольте, вашескорodie, попросить: не угодно ли будет вам уж от себя вопросы господину коллежскому ассессору предложить?

– Какие же вопросы?

– Что, сударь, вздумаете, то и спросите. Увидите, по крайности, какую силу он перед вами выкажет.

– Извольте! Что бы, например?.. Ну, например: понимаешь ли ты, коллежский ассессор, какое значение слово «правда» имеет? Молчание.

– А бога... боишься? Молчание.

– Ну, что бы еще?.. На пользу ближнему послужить не прочь? Опять и опять молчание. Я в недоумении взглянул на Изуверова.

– Не понимает-с, – объяснил он кратко.

– То есть, как же это не понимает? Кажется, вопросы не очень мудреные?

– И не мудреные, а он ответить не может. Нет у него «добродетельного» разговора – и шабаш! все воровство, да подлости, да грабеж – только на уме! Вообще, позвольте вам доложить, сколько я ни старался добродетельную куклу сделать – никак не могу! Мерзавцев – сколько угодно, а что касается добродетели, так, кажется, экого слова и в заводе-то в этом царстве нет!

– Да ведь это, впрочем, и естественно. Возьмите даже живую куклу – разве она понимает, что такое добродетель?

– Не понимает – это верно-с. Да, по крайности, она хоть лицемерить может. Спросите-ка, например, нашего магистратского секретаря: «Боишься ли ты бога?» – так он, пожалуй, даже в умиление впадет! Ну, а мой коллежский ассессор – этого не может.

– Это, я полагаю, оттого, что, в сущности, ваш «коллежский ассессор» добродетельнее, нежели магистратский секретарь, – вот и всё. А попробуйте-ка вы «добродетельные» разговоры с точки зрения лицемерия повести – тогда я уверен, что и ваш «Мздоимец» не хуже магистратского секретаря на всякий вопрос ответит.

игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

Идея эта, сама по себе очень простая, – сделать доступною для негодя добродетель, обратив ее, при посредстве лицемерия, в подлость, – по-видимому, не приходила до сих пор в голову Изуверову. Даже и теперь он не сразу понял: как это так? сейчас была добродетель... и вдруг будет подлость!! Но, в конце концов, метаморфоза, разумеется, объяснилась для него вполне.

– А ведь я, вашескорodie, попробую! – сказал он, робко взглядывая на меня.

– Разумеется, попробуйте! И я уверен, что успех будет полный.

– Ведь я тогда, вашескорodie, пожалуй, и госпожу Строптивцеву вполне сработать могу?

– Еще бы! Да вот, постойте: попробуемте даже сейчас с вашим «Мздоимцем» опыт сделать. Поставимте ему вопрос по-новому – что он нам скажет?

И, обращаясь к кукле, я формулировал вопрос так:

– Слушай, «Мздоимец»! Что ты не понимаешь, что значит правда, – это мы знаем. Но если бы, например, на пироге у головы кто-нибудь разговор об правде завел, ведь и ты, поди, сумел бы притвориться: одною, мол, правдою и свет божий мил?

«Коллежский ассессор» взглянул на нас с недоразумением и несколько мгновений как бы соображал, стараясь понять. И вдруг пронзительно и радостно крикнул:

– Папп-па! папп-па! папп-па!

* * *

Новая кукла, «Лакомка», с внешней стороны оказалась столь же удовлетворительною, как и «Мздоимец». «Лакомка» был «человек» неизвестных лет, в напудренном парике, с косичкою назади и букольками на висках, в костюме петиметра[4] осьмнадцатого столетия, как их изображают на дешевеньких гравюрах, украшающих стены провинциальных гостиниц. Лицо полное, румяное, улыбающееся, губы сочные, глаза с поволокою. Одной рукой он зажимал трехугольную шляпу, другую – держал наотмашь, как бы посылая в пространство воздушный поцелуй. Сзади его стояли ширмы, на которых сусального золота буквами было написано: «Приют слатких адахнавений»; сбоку были поставлены другие ширмы с надписью: «Вхот для прелесниц». Вообще было заметно поползновение устроить такую обстановку, которая сразу указывала бы на постыдный характер занятий действующего лица.

– Тоже состоит на службе? – спросил я.

– Помилуйте! пряжку имеет-с! [5]

После этого предварительного объяснения «Лакомка», по данному знаку, учащенно замахал свободной рукой, то прижимая ее к сердцу, то поднося к губам. И в то же время, как бы повинувшись какому-то тонкому психологическому побуждению, одну ногу поднял.

– Это он женский пол чует! – объяснил мне Никанор Сергеич, покуда «Лакомка», что есть мочи, кричал:

– Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Как бы в ответ на этот призыв, занавеска, скрывающая «вход для прелестниц», заколыхалась. Я ждал, что вот-вот сейчас войдет какая-нибудь ветреная маркиза, но, к удивлению моему, вошла... старуха!.. И не маркиза, а старая мещанка, в отрепанном платьишке, с платком на голове, и даже, по-видимому, добродетельная. Лицо у нее сморщилось, глаза слезились, подбородок трясся, нос выказывал признаки затажного насморка, во рту не было видно ни одного зуба. Она держала в руках прошение и тотчас же бросилась на колени перед «Лакомкой», как бы оправдываясь, что у нее ничего нет, кроме бесплодных воспоминаний о добродетельно проведенной жизни.

Сначала «Лакомка» как бы не верил глазам своим, но потом ужасно разгневался.

– Вззз...– шипел он злобно, топая ногами и изо всей силы потрясая крошечным

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru колокольчиком.

– Ишь, Искарриот, ошалел! [6] – шепнул мне Изуверов, по-видимому, принимавший в старухе большое участие. – Он, вашескорodie, у нас по благотворительной части попечителем служит, так бабья этого несть конца что к нему валит. И чтобы он, расподлец, хворости или старости на помощь пришел – ни в жизнь этому не бывать! Вот хоть бы старуха эта самая! Колькой уж год она в богадельню просится, и все пользы не видать!

Покуда Изуверов выражал свое негодование, на звон колокольчика прибежал сторож, и между действующими лицами произошла так называемая «комическая» сцена. «Лакомка» бросился с кулаками на сторожа, сторож с тем же оружием – на старуху; с головы у старухи слетел шлык [7], и она, обозлившись, ущипнула «Лакомку» в жирное место. Тогда сторож и «Лакомка» окончательно рассвирепели и стали тузить старуху уже соединенными силами. Одним словом, вышло что-то неестественное, сумбурное и невеселое, и я был даже доволен, когда добродетельную старуху наконец вытолкали.

– Вэзз... – потихоньку шипел «Лакомка», оправляясь перед зеркалом и с трудом овладевая охватившим его волнением.

Мало-помалу, однако ж, все пришло в порядок; сторож скрылся, а «Лакомка», успокоенный, встал в прежнюю позу и вновь, что есть мочи, закричал:

– Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

На этот раз из-за занавески показалась молодая женщина. Но так как чувство изящного было не особенно развито в Изуверове, то красота вошедшей «прелестницы» отличалась каким-то совсем особенным характером. Все в ней, и лице и тело, заплыло жиром; краски не то выцвели, не то исчезли под густым слоем неумытости и заспанности. Одета она была маркизой осьмнадцатого столетия, в коротком платье, сделанном из лоскутков старых оконных драпри, в фижмах [8] и почти до пояса обнажена.

Несмотря, однако ж, на непривлекательность «прелестницы», «Лакомка» даже шляпу из рук выронил при виде ее: так она пришлась ему по вкусу!

– Индюшка-с! – шепнул мне Изуверов.

Действительно, остановившись перед «Лакомкой», «прелестница» как-то жалобно и с расстановкой протянула:

– П-пля! п-пля! п-пля!

На что «Лакомка» немедленно возопил:

– Курлы-рлы-рлы! Кур-курлы!

Началась мимическая сцена обольщения. Как ни глупа казалась «Индюшка», но и она понимала, что без предварительной игры ходатайство ее не будет уважено. А ходатайство это было такого рода, что человеку, получающему присвоенное от казны содержание, нельзя было не призадуматься над ним. А именно – требовалось, чтоб «Лакомка», забыв долг и присягу, соединился с внутренним врагом, сделал из подведомственных ему учреждений тайное убежище, в котором могли бы укрываться неблагонадежные элементы и оттуда безнаказанно сеять крамолу. Понятно, что «Индюшка» должна была пустить в ход все доступные ей чары, чтобы доставить торжество своему преступному замыслу.

Мы, видевшие на своем веку появление и исчезновение бесчисленного множества вольнолюбивых казенных ведомств, – мы уж настолько притупили свои чувства, что даже судебная или земская крамола не производит на нас надлежащего действия. Но в то время крамола была еще внове. «Лакомка», по-видимому, и сам не вполне понимал, в чем именно заключается опасность, а только смутно сознавал, что шаг, который ему предстоит, может иметь роковые последствия для его карьеры. И под гнетом этого предчувствия потихоньку вздрагивал.

Сцена обольщения продолжалась. «Индюшка» закатывала глаза, сгибала стан, потрясала бедрами, а «Лакомка» все стоял, вперив в нее мутный взор, и

Игрушечного дела людихи. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru вздрагивал. Что происходило в это время в душе его? Понял ли он, наконец? приходил ли в ужас от дерзости преступной незнакомки или же наивно обдумывал: «Сначала часок-другой приятно позабавлюсь, а потом и отошлю со сторожем в полицию на дальнейшее распоряжение...»

Как бы то ни было, но, ввиду этих колебаний, «Индюшка» решилась на крайнюю меру: начала всю горстью скрести себе бедра, томно при этом выкрикивая:

– П-ля! п-ля! п-ля!

Тогда он не выдержал. Забыв долг службы, весь в мыле, он устремился к обольстительнице и ухватил ее поперек талии... Признаюсь, я ужасно сконфузился. «Приют сладких отдохновений» находился так близко, что я так и думал: «Вот-вот сейчас будет скандал». Но Изуверов угадал мои опасения и поспешил успокоить меня.

– Не извольте опасаться, вашескорodie! недолжного ничего не будет! – сказал он в ту минуту, когда, по-видимому, ничто уже не препятствовало осуществлению крамолы.

И действительно, вдруг откуда ни возьмись... мужик!! Это был тот же самый мужичина, который за несколько минут перед тем фигурировал и у «Мздоимца», – но как он в короткое время оброс! Опять на нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком; опять из-за пазухи торчал целый запас кур, уток, гусей и проч., а из кармана, ласково мыча, высовывала рогатую голову корова; опять онучи его кипели млеком и медом, то есть серебром и золотом... И опять он был виноват!

Он вбежал, как угорелый, бросился на колени и замер.

– Это он по ошибке-с! – объяснил Изуверов, – ему опять надлежало к «Мздоимцу» отъяться, а он этажом ошибся да к «Лакомке» попал!

И рассказал при этом анекдот, как однажды сельский поп, приехав в губернский город, повез к серебрянику старое серебро на приданое дочери подновить, да тоже этажом ошибся и вместо серебряника – к секретарю консистории влопался.

– И таким родом воротился восвояси уже без серебра, – прибавил Изуверов в заключение.

Первую минуту и «Лакомка» и «Индюшка» стояли в оцепении, точно сейчас проснулись. Но вслед за тем оба зашипели, бросились на мужика и начали его тузить. На шум прибежал, разумеется, сторож и тоже стал направо и налево тузить. Опять произошла довольно грубая «комическая» сцена, в продолжение которой действующие лица до того перемешались, что начали угощать тумачами без разбора всякого, кто под руку попадет. Мужика, конечно, вытолкали, но в общей свалке, к моему удовольствию, исчезла и «Индюшка».

– Надеюсь, что она больше уж не явится? – обратился я к Изуверову.

– Явится, – отвечал он, – но только тогда, когда вопрос о крамоле окончательно созреет.

«Лакомка» остался один и задумчиво поправлял перед зеркалом слегка вывихнутую челюсть.

Несмотря на принятые побои, он, однако ж, не унялся, и как только поврежденная челюсть была вправлена, так сейчас же, и даже умильнее прежнего, зазевал:

– Мамм-чка! мамм-чка! мамм-чка!

Впорхнула довольно миловидная субретка[9] (тоже по рисункам XVIII столетия), скромно сделала книксен и, подавая «Лакомке» книжку, мимикой объяснила:

– Барышня приказали кланяться и благодарить; просят, нет ли другой такой же книжки – почитать?

Увы! к величайшему моему огорчению, я должен сказать, что на обертке присланной книжки было изображено: «Сочинения Баркова. Москва. В университетской

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru типографии. Печатано с разрешения Управы Благочиния»[10].

Я так растерялся при этом открытии, что даже посовестился узнать фамилию барышни.

Между тем «Лакомка», бережно положив принесенный том на стол, устремился к субретке и ущипнул ее. Произошла мимическая сцена, по выразительности своей не уступавшая таковым же, устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа[11].

– Еще ничего я от вас не видела, – говорила субретка, – а вы уж щиплетесь!

Тогда «Лакомка», смекнув, что перед ним стоит девица рассудительная, без потери времени вынул из шкапа банку помады и фунт каленых орехов и поверг все это к стопам субретки.

– А ежели ты будешь мне соответствовать, – прибавил он телодвижениями, – то я, подобно сему, и прочие мои сокровища не замедлю в распоряжение твое предоставить!

Субретка задумалась, некоторое время даже рассчитывала что-то по пальцам и наконец сказала:

– Ежели к сему прибавишь еще полтинник, то – согласна соответствовать.

Весь этот разговор произошел ужасно быстро. И так как не было причины предполагать, чтоб и развязка заставила себя ждать (я видел, как «Лакомка» уже начал шарить у себя в карманах, отыскивая требуемую монету), то я со страхом помышлял: «Ну, уж теперь-то наверное скандала не миновать!»

Но гнусному сластолюбцу было написано на роду обойтись в этот день без «лакомства». В ту минуту, когда он простирали уже трепетные руки, чтобы увлечь новую жертву своей ненасытности, за боковой кулисой послышались крики, и на сцену ворвалась целая толпа женщин. То были старые «Лакомкины» прелестницы. Я счел их не меньше двадцати штук; все они были в разнообразных одеждах, и у каждой лежало на руках по новорожденному ребенку.

– П-ля! п-ля! п-ля! – кричали они разом.

«Лакомка» на минуту как бы смутился. Но сейчас же оправился и, обращаясь в нашу сторону, с гордостью произнес, указывая на младенцев:

– Таковы результаты моей попечительной деятельности за минувший год!

Этим представление кончилось.

* * *

После этого Изуверов разыграл передо мной еще два «представления»: одно под названием «Наказанный Гордец», другое – «Нерассудительный Выдумщик, или Сделай милость, остановись!» Я, впрочем, не буду в подробности излагать здесь сценарий этих представлений, а ограничусь лишь кратким рассказом их содержания.

Пьеса «Наказанный Гордец» начиналась тем, что коллежский асессор появился в телеге, запряженной тройкой лихих лошадей, и с чрезвычайной быстротой проскакал несколько кругов по верстаку. Едва въехал он на сцену, как во всю мочь заорал: «Го-го-го!», объявил, что едет на усмирение, и дал ямщику тумака в спину. На нем было форменное пальто с светлыми пуговицами и фуражка с кокардой на голове; в левой руке он держал мешок с выбитыми, по разным административным соображениям, зубами, а правую имел в готовности. Несмотря на захватывающую дух езду, он ни на минуту не переставал гоготать, мерно ударяя ямщика в спину, вылушивая ему зубы и лишая волос. Наконец частные членовредительства, по-видимому, показали ему мало действительными и он решил покончить с ямщиком разом. Снял с него голову и бросил ее в кусты. Почувяв свободу, лошади бешено рванули вперед, и я уж предвидел минуту, когда телега и ее утлый седок будут безжалостно растрепаны; но, к счастью, станция была уже близко. Повинуясь инстинкту, лошади, как вкопанные, остановились перед станционным столбом и тотчас же все три поколели. Покуда «Гордец» скакал последние полверсты, я заметил, что на станционном дворе происходило какое-то чрезвычайно суетливое движение; но когда тройка подскакала и раздалось раскатистое «го-го-го!», то никто на этот оклик не ответил. «Гордец»,

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru закинув голову назад, ходил взад и вперед, держа в руках часы и твердо уверенный, что через минуту новая перекладная будет подана. Но урочная минута прошла, и никакого движения не проявлялось. Тогда «Гордец» удивленно огляделся кругом, и унылая картина предстала очам его...

Почтовый двор стоял одиноко в лесу, и внутри его все словно умерло. Какие-то таинственные звуки доносились со двора, не то шепот, не то фыркание, да слышно было, что где-то вдали, в лесной чаще, аукается леший. «Гордец» отлично понял, что тут кроется противодействие властям, и сейчас же бросился на розыски. Действительно, не прошло и минуты, как он вытащил за шиворот из потаенных убежищ писаря и четверых ямщиков. И, по мере того как вытаскивал, немедленно лишал их жизни даже без допроса. Когда же лишил жизни последнего ямщика, то вновь возопил: «Го-го-го!», думая, что теперь-то уж непременно выедет готовая перекладная. Однако и на этот оклик никто не явился. Тогда, вне себя от гнева, он поймал петуха и оторвал ему голову; потом, завидев бегущую собаку, погнался за ней, догнал и разорвал на части. Но и это не помогло.

Между тем времени прошло немало; на землю спустились сумерки, и в глубине леса показалось стадо голодных волков. Впервые в голове «Гордеца» блеснула мысль, что если б он не заботился так много об ограждении прерогатив власти, то, вероятно, в эту минуту преспокойно продолжал бы путь, а может быть, доехал бы уж до места. А волки между тем, почуяв убиенных, подходили всё ближе и ближе и подняли, наконец, такой надрывающий душу вой, что даже вороны, облепившие в чайнии пира, соседнюю сосну, поняли, что тут взятки гладки, и, с шумом снявшись с дерева, полетели дальше.

Мрак сгущался, волки выли, лес начинал гудеть... Долго крепился «Гордец», все думал: «Не может этого быть!» – но наконец заплакал. Плакал он много и горько, плакал безнадежно, как человек, который неожиданно понял, сколько жестокого, сатанински бессмысленного заключает в себе акт лишения жизни. И, плача, вспоминал папеньку, маменьку, братцев, сестриц и горько взывал к ним: «Где вы?» Потом обратился мыслью к начальникам и тоже вопиял: «Где вы?» И среди этой агонии слез – кошунствовал, говорил: «А ведь управлять и опустошать – не одно и то же!»

Но тут совершилось нечто ужасное. Стая волков настолько приблизилась, что совершенно заслонила собой «Гордеца». Еще минута – и на пороге станционного дома валялась одна фуражка, украшенная кокардую...

Содержание «Нерассудительного Выдумщика» было несколько сложнее.

Некоторый коллежский асессор, получив власть, вдруг почему-то сообразил, что она дана ему не напрасно. А так как начальники, облекшие его властью, ничего ему на этот счет не объяснили, то он начал додумываться сам. Думал-думал и наконец выдумал: власть дается для искоренения невежества. «Уж больше столетия, – сказал он себе, – как коллежские асессоры искореняют русское невежество, а толку все нет. Отчего? А оттого, сударь мой, что не все коллежские асессоры в одинаковой силе действуют. Много есть между ними издоимцев, много прелюбодеев, много зубосокрушителей и очень мало настоящих искоренителей невежества. Начнет истинный искоренитель искоренять, а невежество возьмет да за полтинник откупится. А надо так на невежество нажать, чтоб ему вздыху не было, чтоб куда оно ни сунулось – везде ему мат».

И как только решил про себя «Выдумщик», какая ему задача предстоит, так сел за письменный стол, да с тех пор и не выходит оттуда. Не пьет, не ест, не спит – всё «нерассудительные» выдумки выдумывает.

Строчит с утра до вечера; но так как он и сам не понимает, что строчит, то все выходит у него без связи, вразброд. То вдруг, с большого ума, покажется: оттого в России невежество, что община по рукам и по ногам мужика связывает, – и вот готов проект: общину упразднить. То вдруг мелькнет: оттого царствует невежество, что в деревнях хороших племенных жеребцов нет, – немедленно таковых приобрести! Или вздумается: истинное основание русскому невежеству полагают кабаки – сейчас резолюции: кабаки закрыть, а вместо оных повсеместно открыть торговлю печатными пряниками. А наконец и еще: куда были бы мы просвещеннее, если б мужики сеяли на полях, вместо ржи, персидскую ромашку, а на огородах, вместо репы, морковь! И опять резолюция: дать знать, кому ведать надлежит, и т. д.

Игрушечного дела людишки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru Но беда в том, что невежество упорно. Недостаточно сказать ему: «В видах твоего искоренения необходимо упразднить общину». Надо, кроме того, еще сделать его способным к восприятию этой истины. Иначе, пожалуй, оно и того не поймет, с какой стати его невежеством зовут и зачем непременно понадобилось его искоренить. Каким же образом добиться, чтобы невежество сделалось способным к восприятию? Думал-думал коллежский асессор и наконец хоть и с болью в сердце, но пришел к заключению, что самое лучшее средство – это экзекуция! «Конечно, – рассудил он сам с собою, – это то же самое, что в древности называлось „поронцами“, но ведь одно другого дороже: или церемониться, или достигать! Поронцы, так поронцы!»

И вот сидит он да нерассудительность свою не устаючи тешит, а по дороге солдатики в рога трубят, а в рощице волостные начальнички веники режут, а на селе мужичок кричит: «Вашескородие! не буду!» Слышит эти крики «Выдумщик», но некоторое время делает вид, что не понимает. Однако ж, наконец, и он видит, что притворяться непонимающим дольше нельзя. Вскочит, приложит руку к сердцу и скажет в свое оправдание: «Знаю, милые, что ныне вам больно, но надеюсь, что впоследствии вы сами поймете, сколь сие было для вас полезно!»

И что всего ужаснее – не только неподкупен, но и неумолим. Сколько раз мужички всем миром ходили, хабару[12] носили, на коленях просили – не внемлет и не приемлет. «Глупенькие! – говорит, – стерпится – слюбится, а после вы меня же благодарить будете!»

Так у них до сих пор колесом дело и идет. Он нерассудительные выдумки выдумывает, они – вопиют: «Вашескородие! не будем!» Ромашку персидскую посеяли, а клопы пуще прежнего одолели; о племенных жеребцах докучали, а начальство, по недоразумению, племенных поросят прислало; кабаки закрыли – корчемщиков развели.

Одна только община о сю пору цела стоит: видно, уж сам бог ее бережет!

* * *

«Подьячие» были исчерпаны. Только и додумался Изуверов до этих четырех типов, да, может быть, и в самом деле только их и было в тогдашнее несложное время. Я, впрочем, был очень этому рад. Несмотря на то, что мое посещение длилось не больше двух часов, я чувствовал какую-то чрезвычайную усталость. И не только физическую, но и нравственную. Как будто ощущение оголтения, о котором я говорил выше, мало-помалу заползло и в меня самого, и все внутри у меня онемело и оскудело.

Я немало на своем веку встречал живых кукол и очень хорошо понимаю, какую отраву они вносят в человеческое существование; но на этот раз чувство немоты произвело на меня такое угнетающее впечатление, что я готов был вытерпеть бесчисленное множество живых кукол, лишь бы уйти из мира «людишек». Даже госпожа Строптивцева, возвращавшаяся в это время по улице домой, – и та показалась мне «умницей».

Мне кажется, разгадка этого чувства угнетенности заключается в том, что живых кукол мы встречаем в разнообразнейших комбинациях, которые не позволяют им всегда оставаться вполне цельными, верными своему кукольному естеству. А сверх того, они живут хотя и скудно, но все-таки живую жизнь, в которой имеются некоторые, общие людскому роду, инстинкты и вождения. Словом сказать – принимают участие в общей жизненной драме. Тогда как деревянные людишки представляются нам как-то наянливо[13] сосредоточенными, до тупости последовательными и вполне изолированными от каких-либо осложнений, вызываемых наличностью живого инстинкта. Участвуя в общей жизненной драме, вперемешку с другими такими же куклами, живая кукла уже по тому одному действует не так вымогательно, что назойливость ее отчасти умеряется разными жизненными нечаянностями. Деревянные людишки и этого отпора не встречают. У них в запасе имеется только одна струна, но они бьют в эту струну с беспрепятственностью и регулярностью, доводящими мыслящего зрителя до отчаяния.

Правда, Изуверов утверждает, что его «людишек» можно легко уgomонить, тогда как живая кукла сама, дескать, вынет из тебя душу и заставит проклинать час твоего рождения. Положим, что это и так; но в таком случае стоит ли интересоваться этими людишками, стоит ли тратить на них свою жизнь? И не прав ли был соборный дьякон, укорявший Изуверова: «И от живых людишек отбою на свете нет, а ты еще деревянных плодишь!»

Но, сверх того, ежели хорошенько вникнуть в дело, то Изуверов окажется не прав и в другом. Он слишком презрительно, свысока отозвался о присланной из Петербурга «Новобрачной», слишком поспешил назвать ее «пустою» куклой. Во-первых, чтобы сделать такую куклу, не нужно ни задумываться, ни изобретать, ни мнить себя гением, а достаточно обладать некоторым навыком, иметь под рукой достаточное количество тряпок и лайки и уметь со вкусом распорядиться наружными украшениями. А во-вторых, как «Новобрачная» эта кукла положительно не оставляет ничего желать. Изуверов спрашивает: «На какой предмет? и в каком градусе?» – странные вопросы! Да на всякий предмет и во всяком градусе – вот и все.

Природа благосклонна; люди – злее. Природа не допускает строго последовательного пустоутробия; люди, напротив, слишком охотно настаивают на этой последовательности. Если б природа хотела быть до конца жестокою, она награждала бы живых людишек тем же идиотским упорством побуждений и движений, каким награждает Изуверов своих деревянных людишек. Вот тогда было бы ужасно, ужасно, ужасно – в полном смысле этого слова! Ни угомонить куклу, ни уйти от нее нельзя! сиди и ежемгновенно чувствуй, как она вынимает из тебя душу! и не шелохнись, потому что всякий протест, всякое движение вызывают новую жестокость, новую невыносимую боль!

Но, может быть, жизнь уж и созидает таких людишек? Может быть, в тех бесчисленных принудительных сферах, которые со всех сторон сторожат человека, совсем не в редкость те потрясающие «кукольные комедии», в которых живая кукла попирает своей пятой живого человека? Может быть, Изуверов является совсем не изобретателем, а только бледным копиистом того, что уже давно изобретено жизнью?

Кто возьмет на себя смелость утверждать, что это не так? И кто не согласится, что из всех тайн, раскрытие которых наиболее интересуется человеческое существование, «тайна куклы» есть самая существенная, самая захватывающая?

Примечания

1

...уваль-то...– вуаль.

2

...деток зоблить...– детей воспитывать.

3

...крестовики и полуимпериальчики-с! – серебряные рубли, на оборотной стороне которых вензель императора помещен крестообразно и повторен четыре раза, и золотые монеты пятирублевого достоинства.

4

Петиметр – щеголь (от фр. petit-maitre).

5

...пряжку имеет-с! – Нагрудный знак, выдаваемый в поощрение, главным образом за беспорочную и долголетнюю службу.

6

Ишь, Искарriot, ошалел! – Иуда Искарriot, по библейскому преданию, предавший Христа.

7

Шлык – старинный головной убор русских замужних женщин.

8

Фижмы – юбка на широком каркасе в виде обруча, который вставляется под нее для придания пышности фигуре.

игрушечного дела людшки. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин saltykov-shchedrin.ru

9

Субретка – в старинных комедиях – бойкая и проказливая служанка (от фр. *soub-rette*).

10

Управа Благочиния – орган городского полицейского управления, учрежденный Екатериной II в 1782 г. Она обязана была наблюдать за исполнением законов и решений присутственных мест, за городским благоустройством. Кроме того, в ее ведение входила так называемая полиция нравов («благочиние»), следившая за умонастроениями и порядком в городе. В столицах управу возглавлял обер-полицеймейстер, в провинциях – полицеймейстер, либо городничий.

11

...устраиваемым на театре города Мариуполя Петипа.– Драматический актер М. М. Петипа, игравший на петербургской сцене, в 1886 г. вынужден был покинуть столицу и продолжать выступления на провинциальной сцене. М. М. Петипа – сын знаменитого балетмейстера Мариуса Петипа.

12

Хабара – взятка, барыш.

13 Наянливо – назойливо, нахально.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://saltykov-shchedrin.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!